

Слова, которыми можно все объяснить, всегда просты: ты для нее еще один голос, возникший из немоты: может быть, самый правдивый и внятный, без гнева и лести. Возможно, она его слышит отзвуком своего. Возможно, она вообще не отличает его. Тем более трудно понять, что держит вас вместе.

И трудно понять, что вас держит, как не боязнь лишиться друг друга, что может держать эту связь — рваную ткань прозрений, метаморфоз, мечтаний, что держит в воздухе невесомый такой аппарат, чье крыло касается каждой из ваших утрат, чей полет невесом и чей дрейф — в тумане.

Вещи, за которые гибнут, по сути, касаются бытия, касаются невесомости, касаются непостоянств, касаются, кстати, всего, к чему нет касательства. Касаются веры, прежде всего, конечно, ее — ее же касается шанс на спасенье твое, сомненья твои и все страхи предательства.

Жизнь восхищения стоит, скажу все равно. Хотя Господь позабыл про нее давно — ему хватает забот, а итог — незавиден. Не стоит бояться безносой с косой, пустоты. Бог видит те же самые вещи, что видишь и ты. Просто он забывает порой то, что видит.

Можно пытаться в чем-то его убеждать, можно покаяться, но есть ли в этом нужда, неизвестно за что, непонятно какого лешего. Бог прячется в бесконечном, среди планет. Я видел его. Я говорил ему, что его нет. Он даже не спорил, но от этого мне не легче.

Так пой же, Мария, неудобных вопросов не ставь. Смерть не меняет привычек, там все на своих местах. Смерть лишь меняет билеты и дорожные карты. Вот и не страшно мне будет на этом страшном суде. После жизни в разбитой стране на хлебе и на воде, кто меня может судить и чем меня напугать-то?

Пойте, гарпунщики, в море идя на дно, пойте, изгнанники, о том, что вам все равно, и о том, что изгнание вас не лишило веры. Вера — то, что спасает тебя на краю скалы, даже когда твои шансы настолько малы, что от тебя ничего не хотят даже твои офицеры.

Будет цвести вереск, будет чернеть трава. Будут всегда с тобой все твои права, поклоны в конце, посвященья на первой странице. Будет всегда с тобой стройный ее напев, Носи его в сердце, гарпунщик, держи теперь, словно в ножнах клинок, словно в клетке птицу.

* * *

Лето тебе оставило высокую эту пшеницу. Оно проходило, пока ты жила, словно летела. Я знаю, зачем они сохранили его плащаницу — чтобы всегда иметь при себе контуры его тела.

Я тоже, если бы мог, хранил бы твои покрывала, рушники, знавшие твоих волос влажную шалость, чужие рубашки, которые ты долго перебирала и в которых донине тепло твое сохранялось.

Хранил бы книги, когда-то тобой перелистанные, перебирал бы прочитанное это собрание, видел бы между отдельными буквами и страницами твою сосредоточенность — одинокую и странную.

Я понимаю, что после, когда-то, будет что-то иначе. Ночи станут пустыми, рассветы тишайшими. Но этот воздух уже не будет таким, как раньше, если ты в него заходила, если ты дышала им.

И если потом, когда-то, найдутся какие-то умники и начнут твердить о безнадеге, тоске, усталости, я вывешу эту ткань, темную, как сумерки — пусть себе смотрят, пусть удивляются.

От нехватки, присущей нам всем, нет исцеления,
нету границ и нету другого выхода.
Но посмотрите на оттиски ее острых локтей и коленей —
все было в действительности, я ничего не выдумал.

Можете ощутить теперь высоту барьеров,
можете отступаться, можете идти, падая.
Тому, кто боится — необходима вера.
Тому, кто любит — достаточно памяти.

* * *

А теперь расскажу тебе, как я встречался с дьяволом.
Дьявол, Мария, следует лишь одному правилу —
он вводит тебе под кожу мед и олово,
он к телу тебе пришивает свое сердце и голову.

Ходи теперь с его головой, глаза и рот разинув.
Лови теперь солнце в небе, раздумывай в чем причина.
Все равно ничего не поймаешь, не поумнеешь.
Останешься с тем, во что веришь, то есть с тем, что имеешь.

Дьявол, Мария — черный портной из Бронкса,
в легкие ему влит огонь, в глазах его тает бронза,
шьет он из ценной ткани костюмы стильного кроя,
устраивает перестрелки и резню с реками крови.

Приводит к себе по ночам золотых китайянок,
гопит в мутном заливе их тела спозаранок,
вкладывает тебе в руки пакеты, о доставке хлопочет,
записывает на обоях потайной адресочек.

И я, Мария, жаждущим разносил его передачи,
конверты его невесомые, свертки эти горячие,
изнашивал сердце свое под любимой футболкой,
пробивал себе кожу цыганской его иголкой.

Но меня твое внимание берегло не однажды,
спасала твоей любви июльская жажда,
защищали твои деревья, что снегом покрылись,
наполняли теплом твоих родинки знаки кириллиц.

Дьявол, Мария, не знает, что ему делать с нами,
с нашими голосами, с нашими снами.
Он имеет дело с шелком, он держится суши.
Что ему наши беды, что ему наши души?

Ему никогда не узнать, как ломается голос
от разговоров с тобой, как высыхает горло,
когда ты молчишь, как оживают сохлые грядки
и рубцуются раны от слюны твоей сладкой.

Что он может думать в своей портняжной?
Его воротит от наших песен протяжных.
Для него наша ярость — нестерпимо глумлива.
Для него отсутствие веры — дивное диво.

Целую ночь она поет хрипловато.
Пальцы ее в крови и сахарной вате.
Печаль выжигает изнутри вены,
и птицами голоса в порту сирены.
Боже, храни королеву на нашей эстраде.

Целое утро она пакуется — путь не близок.
У нее еще трое суток до окончания визы.
У нее еще полный бак бензина
и перечень благодарностей Божьему сыну —
столько всего интересного
для следственной экспертизы.

Никто не мешает ей выехать еще сегодня.
Возникнуть со стороны ночи.
Двигаться в сторону полдня.
Пустой хостел. Койка на верхотуре.
Телефонная книга — читай до дури,
думая, как эту драму тысячи лиц
и номеров исполнить.

Никто не мешает ей говорить четко и просто;
сочиняя заметку, хоть когда-то прибегнуть к прозе,
объяснить наконец, что тогда случилось,
к чему здесь усталость, к чему старость.
Никто не мешает ей.
Но никто и не просит.

О чем просить — у нее на сердце утрата,
в душе — разлука и нежность,
в ладони — ручная граната,
в легких — серебряные ледяные торосы,
в воспоминаниях — затонувшие в море матросы.
Даже сердце ее имеет номер музейного экспоната.

Я тоже все знаю и ей не мешаю,
взвешиваю, соображаю, но не принижаяю.
Рисунок на коже,
острые плечи,
двадцать минут, чтобы собрать вещи —
сухое вино нынешнего урожая.

Целый вечер она в черном свитере по погоде.
Движения ее четки, в них страсть и свобода.
Целая неделя на исповедь и на пение,
Целая зима, чтобы ждать наводнения.
Целая жизнь, чтобы в конце не бояться ухода.

Утром здесь падает снег, будто меняют кулисы.
 Нежные шеи женщин светятся мрамором стылым.
 Спят у вокзала черные,
 смотрят в небо метисы,
 высматривают среди туч свое сумеречное светило.

Испытывают безмолвие, осторожно, на ощупь,
 забыв, кто с кем спал, мешая врагов с друзьями.
 Ты в этот час просыпаешься и выходишь на площадь,
 и ветер сразу подхватывает
 волос твоих гордое знамя,

вспарывает изнутри влажные ткани природы,
 сдвигает и разламывает сердцевину озона.
 С таким черным знаменем, против такой бури
 лишь защищать столицы,
 из которых ушли гарнизоны,

лишь на арабские крепости с ходу идти атакой
 и в христианские замки мужественно ломиться,
 под таким знаменем
 лишь сбивать из подростков ватаги
 и с наивысшей крыши салютовать птицам.

Пусть знают, что в этих краях не все еще бросили
 ружья,
 пусть видят, что кто-то еще отбивает вражьи набег,
 пусть думают, что мы занимаемся чем-то ненужным,
 пусть наблюдают тучи, навьюченные снегом.

... Птицы пока осваивают
 вымороженную безбрежность,
 воздух уже разрывается между водой и сушей,
 ты в это время идешь ноябрьским побережьем,
 побережье об эту пору отслеживает идущих.

Помнишь? — спрошу.
 Нет, — скажет, — не припоминаю.
 Память, — скажет, — как барахло из Китая —
 его так много, что не хватает места.
 Что мне от памяти? Все равно не воскресну.
 И ты не воскреснешь, и не питай надежды.
 Готовься, раз не готов еще —
 зима будет долгой и снежной.

С чего, — говорю, — не готов? Давно готов я.
 Видишь, вон черный бушлат и дым портовый?
 Видишь те острые финки, боевые кастеты?
 Я десять лет пытался выведать, где ты.
 Я десять лет хотел уяснить себе, с кем ты.
 Могу еще раз повторить тебе
 и расставить акценты.

Не надо, — ответит, — мне все равно не понятно.
 Я все сохраняю — темные стороны, яркие пятна.
 Но что мне от памяти? Разве что горечь, досада.
 Память, она ведь как вещь. Память, она как награда —
 принадлежит по праву, как рыбаку — снасти.
 В такие снега всегда начинается насморк.

Ну да, — соглашаюсь, — все помнить — уже не мало.
 Память, как время — мне ее часто не доставало.
 Но нет отголосков, и, значит, ночных кошмаров.
 Я не состарился даже как следует для мемуаров.
 Доходы мои и потери — итоги в сомнительной смете.
 Хочешь поднять настроение дьяволу —
 дай ему пару советов.

В такие снега начинается все сначала.
 Смолкаешь вдруг, и сам нарушаешь молчанье.
 Десять лет я ждал под черными парусами.
 Десять лет забывал я все, что случилось с нами.
 Память, она как ты. Память — твой голос и даты.
 Можно забыть, можно вспомнить все —
 до черты невозврата.